КАТЯ КАПОВИЧ

УРОК ЛЕПКИ

Соне Симун

Камышовым котом лунный свет
в буколических зарослях снов.
Он охотник, напавший на след,
я его драгоценный улов.

Крупной солью блестит млечный путь,
и небесный пробив термометр,
фонарей вездесущая ртуть
застолбила любой километр.

Пусть теперь снегопад поскорей,
как тот опытный, грубый гончар,
снимет мокрые слепки с вещей
в подтвержденье их общих начал.

Все, что было соринкой в глазу,
обретет сразу вес и объем:
всякий лист, как гончарный сосуд
так давай в него душу вдохнем!

Этой ночью не боги горшки
обжигают в морозных печах.
Мни в ладонях сухие снежки!
Мни, что мнешь голубой, легкий прах!

И гончарный завертится круг
вместе с лесом, холмом и рекой,
но уже не отбиться от рук
мягкой глине, послушной, сырой.

БИЛЬЯРД В ПУСТЫЕ ВОРОТА

"О ужас! Мы шарам катящимся подобны..."
Ш.Бодлер

Я скажу это будущим дням напотребу:
снег, вначале был снег. Осыпавшийся с неба,
он лежал на земле и не таял века.
Шла зима, наступая на грудь ледника,
край земли был краюхой прогорклого хлеба.

То и ели на праздник, что в черствые дни,
то и думали, что говорили они.
И напрасно, напрасно, опальный философ,
ты долдонишь, что мир есть растительный миф,
тусклый нимб желтой лампы на грудь уронив,
разгибая подковы проклятых вопросов.

Посмотри, ночь древесной смолою пропахла,
в талом воздухе видно, что черная пакля
пузырящихся туч изодралась по швам
дело к оттепели, к карантину, к ручьям,
когда жизнь превращается в форму спектакля.

Дней творения шесть. Перемножь на года,
помня: сумма ночей в ожиданьи суда
больше суммы углов в одиночной квартире!
Если время на запад бежит в этом мире,
не пора ли по кругу пускать поезда,

Будут долгие проводы, будут пиры,
словно с чучел музейных, с нас снимут чадры,
и шары горних молний катая по крыше,
боги града и гроз за бильярдным столом
соберутся народы судить вечерком,
на двоих тепловатый портвейн раздавивши.

Это зал ожидания. Суд начался.
Ждут у моря погоды сухие леса
корабельные, ждет адресат приговора,
но сбивается с текста и путает роль,
на подмостках ночных тротуаров юдоль
престарелой нимфеткой хватает за ворот.

Ecce Homo! Любите его таковым,
его пища вино, черный кофе и дым,
его жены и дети давно с ним в разводе.
Вот он грузно скользит среди ярких витрин,
тень его под колесами встречных машин
долго ловит такси на крутом повороте.

xxx

Терапия в виду февраля
ограничена чтением Барта,
перелистываньем словаря
и прогнозом погоды на завтра.

Окопались гидранты в снегу,
и машины в припадке бессилия
носом черпают кислый йогурт,
но штурмуют сугробов бастилию.

А к полудню приходит весна,
этот факт ощущаешь всей кожею
по тому, как в провале окна
беззаботней гарцуют прохожие.

Как горохом об стенку в ответ
нарастает капельное тремоло,
и какой я ни есть домосед,
но встряхнусь, и печали как не было.

Так уж видно мой слух сотворен,
что в часы упоительной одури
он пчелу в золотой камертон
превращает из сонного лодыря.

Так давай же настроим лады,
в старом доме скрипя половицами,
и споем, в рот набравши воды
вместе с первыми тощими птицами.

x x x

Зряшной погремушкой капели
нельзя околпачить тоску,
особенно утром, с похмелья,
когда, словно муха в мозгу
звенит бессловесная память,
и я, из себя выходя,
наматываю на палец
суконную нитку дождя.

Каких обстоятельств стеченье
свело здесь один на один
слепого дождя откровенье
и солнца малиновый клин?
В их противоборстве нет толка,
я не судия их войне,
но поле для битвы и только.
И счастлива этим вполне.

Нить времени рвется, стеклярус
дождя осыпая к ногам,
скрывается солнечный парус,
курс взявши к другим беренам.
Тогда вот приходит мой звездный,
никем не измеренный час.
Могучие, черные сосны
его в этом мире каркас.

Оги его плахи и вехи,
стропила его кораблю.
Мне выпало в кои-то веки
любить, а забвенье стерплю.
Когда же захлопнется ящик,
взмолюсь об одном в свой черед:
быть мушкой в смоле их горящей,
яд жизни испившей, как мед.

ИНКОГНИТО

Крутится, вертится над головой
флюгер из проволоки нержавейки.
Дни еще коротки. В десять отбой.
Хлебным ножом полумесяц кривой
кем-то забыт на весенней скамейке.

Стой. Кто идет? Скрипнул гравий в тиши,
ветвь надломилась с предательским хрустом.
Здесь на вопрос отвечать не спеши
пусть свято место останется пусто.
Это всего лишь в предверьи грозы
ветер в домах проверяет затворы
то-то цепные ощерились псы,
скплят неровные зубы заборы.

Проще простого сказаться никем,
и квартируясь в мансарде под крышей,
видеть в трех окнах пернатый гарем,
свадебную фату диких вишен.
Будто грехи все отпущены впрок
загодя, как отпускные авансом.
Жди, прозвенит, как в театре, звонок
в дверь. Там не спросят, куда ты собрался.

* * *

Что кроме междометий напоследок,
презумцией пожизненной любви
ложится в белизну тетрадных клеток,
в чернильной растворенное крови.

Кто в дверь стучит квартальным почтальоном
с проверкою, мол, жив ли абонент,
покуда я в пальто демисезонном
немотствую, сходя в толпе на нет.

А города зеркальный кубик-рубик
никак в одно черты не соберет,
все распадается на сотню рубрик,
все падает из рук и прочь течет.

Цветной туман расслаивает вещи:
на расстоянье согнутой руки,
как спичкой вдруг освещены зловеще,
безликостью надбровье и виски.

Как удержать в трясущейся ладони
такой дрожащий мотылек огня?
О Прометеев страх, что нет погони,
что грош цена победе, грош цена.

И все ж лететь в расставленные сети
дождя, где чем незримее для глаз
существованье в зыбком полусвете,
тем достоверней то, что гонит нас.

А счастье там, где заревом багровым
уже с краев охвачен серый холст,
и дождь течет по лицам, отфильтрован
сквозь марлю облаков и уголь звезд.

* * *

Как нож над чешуею крыш,
сверкает этот луч,
листва с листвой играют в бридж
крапленой картой луж.

В гнезде грачей переполох,
соленый ветер с губ
любовников срывает вздох
и дым с кирпичных труб.

А все же этот мир хорош,
а все же этот свет,
стекающий с тво их галош,
в судьбе оставит след.

В тот час, когда окурки звезд
всплывают на реке,
и падают птенцы из гнезд,
я вышла налегке.

Под небом в тучах набекрень
я в сердце уношу
залитую росой сирень
и на воде межу.

* * *

Скудный на солнце выпал апрель
картой не в масть из игральной колоды.
Ветер как вызов с утра на дуэль,
мягко вишневая стелет метель,
скорая помощь увозит кого-то.

Как распознать, что здесь правда, что ложь,
если пока не закуришь спросонок,
в жизни своей ни черта не поймешь
смысл ускользает преступен и тонок,
но сквозь неслаженный бег шестеренок
вдруг проступает ясный чертеж.

Это оттуда, из темных аллей,

холод какого-то вешнего ливня
вдруг пробирает до мозга костей,
и краеведческий вот он, музей,
где битый час я взирала на бивни,
среди изящных скелетов кружа.
Но проморгали меня сторожа.

С черного входа вышла во двор,
улица Ленина плавно делила
Гарвардский сквер, как девичий пробор,
слева стемнело, справа уныло
плыл на чужом языке разговор,
и в уводящий назад коридор
я возвращаться уже не спешила.

Страшно и весело жизнь прожигать,
как сигаретой походную скатерть!
Там, где нас нет, там ли лучше опять?
Там, где мы есть, пусть старухи на паперть
вынесут хлеб и вино в чистый день,
и, как салют, просияет сирень.

* * *

Как жемчужина в терпком вине,
растворяется солнце в притоке.
Здесь зеленые волны вчерне
обивают речные пороги.

Чем не родина? Тот же квартет
лягушачий с дорожной развилки.
Неопознанный бродит предмет,
собирая пустые бутылки.

На скамейку присяду в тени:
в этом душном предбаннике рая
что за немочь мне кровь леденит,

впопыхах дара речи лишая.

Будто в сердце вонзили иглу,
как в игольник с разбухшею ватой,
чтоб острей ощущала игру
легкой жизни со смертью крылатой.

Ширься лето, чекань медяки
в жестких матрицах листьев акаций!
Растекайся в горниле тоски
легкоплавкий металл декораций!

Но когда, отражаясь в реке,
паруса забелеют в астрале,
сердце выйдет в двойное пике,
словно ласточка в сальто-мортале.

Что мне, пленнице всякой земли,
жалкий комплекс детей Герострата,
но сжигает мои корабли
ярко-красное пламя заката.

* * *

Не сойти бы с ума, когда первую пыль
выбивает гроза из садовых дорожек.
Вот еще один снег сдан природой в утиль,
вот еще один год нами мысленно прожит.
Улыбнись полумесяц чеширским котом,
это сказка о том, как разъехались гости,
как за стенкой безумным сапожником гром
загоняет в подметки железные гвозди.

Значит, время вперед, но подай пузырек
с вероналом какой-нибудь ночью, покуда
как надушенный белой сиренью платок
ветер хлещет в лицо потерявшим рассудок.

Этой полночью тучи, как стадо овец,
и канадские клены в припадке падучей
будут биться о наш деревянный торец
и заламывать к небу корявые сучья.

Так давайте по мокрому бегать ковру,
дождь, соседский ребенок с щенком беспородным.
Вот и встретились мы, дай лишь слезы утру,
улыбнусь тебе пугалом тем огородным.
В этой шапке и куртке с чужого плеча
мне бы тоже выгуливать зверя какого
шестикрылого, с долгой печалью в очах,
а играть на свирели мне проще простого.

Знай себе выдувай из отверстий сквозных
вроде шариков мыльных веселые звуки.
Это ветер поет в подворотнях пустых,
где щитами гремят допотопные люки.
А все ж бил барабан пред парадным полком
белых яблонь, когда мы сквозь строй проходили,
когда трескалось небо оконным стеклом,
становясь все зеркальней от поднятой пыли.

Мы попрали закон тяготения: так,
человек, упираясь глазами во что-то,
вырывает из почвы себя, как сорняк,
чтобы не засосало родное болото.
Точно так же кружил этот яблонев цвет,
но далече любой перспективы ночами
различался какой-то заоблачный свет,
тот, что тьмою безликой казался вначале.

* * *

По наитию жить, не смотреть на часы
и не ждать телефонных звонков,
узнавать по движенью сосновой слезы
первый приступ ночных холодов.

К черепашьему панцирю площади дождь
прибивает обрывки газет,
отпечатки снимает с рифленых подошв
и окурки сметает в кювет.

Вот и я наконец возвратилась домой,
к деревянным скворешням лачуг,
затянулась в дверях предосеннею мглой,
на крыльце оглянулась вокруг.

И увидела, как восхитительно все,
даже в войлоке туч тополя,
когда каждый листок, словно сердце мое,
омывают дожди сентября.

И когда вдруг пронзенный незримой стрелой,
он уносится в синюю высь,
я безумно завидую смерти такой
и до боли люблю эту жизнь.

УРОКИ АЛХИМИИ

Юности короткой на излете
за метаморфозами любви
мы мешали пиво с Паваротти
и рецепт от скуки обрели.
Коль кривое зеркало со звоном
раскололось, не спеши пенять,
все равны навек пред Аполлоном
тихим днем, когда на дне студеном
осени искрится благодать.
Безбилетным зайчиком трамвайным.
по стеклу в иссечинах дождя,
миру выбарматывая тайны,
растекаться мыслью, уходя.
Но чужда премудрость этой речи
тем, кто не испил, как горький спирт,
мутную бурду тех междуречий,

чтобы после острым камнем печень
оцарапал желтый блеск ракит.

* * *

Опять кривотолки грачей и сорок
за веткою двух непроезжих дорог,
где озеро смотрит вполглаза,
и дремлют столетние вязы.

Пока мы аукались в чаще лесной,
опять наступил на земле мезозой,
и солнце исчезло из виду,
холмами вернувшись к зениту.

Вот месяц выходит с косой наголо,
и небо черней, чем воронье крыло,
лишь тропка до чьей-то веранды
светлеет, как нить Ариадны.

Что ж, путь наш недолог, глаза смотрят ввысь,
пусть шепчет ночная листва: "оглянись",
и жалит крапива колени
того, кто стал тенью от тени.

Но плотью от плоти ночною порой
в воронку небес сыплет дождь золотой
из звезд и листвы-нержавейки,
как нищему в шляпу копейки.

* * *

Когда размыкает ресницы
ночных сновидений тоска,
и пробуешь с ней объясниться
посредством щедрот языка,
но прыгает текст по странице,
как семечек черных лузга,
как исповедь самоубийцы
в расширенном блеске зрачка.

Нет более странного жанра,
чем эпистолярный синдром,
как будто наложена карма
на радости жизни вдвоем.
Любители прозы бульварной,
мы в собственных письмах прочтем,
как речь задыхалась угарной
струей под косым сквозняком.

Грядущей не спрашивать даты.
Свидания нам не даны,
но лишь бы под тем циферблатом
фарфоровой белой луны,
где насмерть стоят колоннады
дубов в ожиданьи весны,
нас вместе с тобою когда-то
вели вдоль высокой стены.

На деле все будет иначе,
все будет и проще и злей,
рассвет станет мутный незрячий,
и гарью потянет с полей,
жизнь будет и царство впридачу
каких-то ненужных вещей,
и только за стенкой заплачет,
как ветер, ребенок ничей.

* * *

Нью-Йорк зажигает огни ровно в шесть,
а если в веселый театр не вхожа
твоя гулливерова тень, то и здесь
на холоде, улица, хлопай в ладоши,
где нитками снега стреножен прохожий,
и корчит гримасы гудзонская жесть.

И мертвого даже ландшафта черты
нам одушевленней ужимок тех кукол.
О горло сжимающий ворот воды,
затянутый в каменный галстук под угол!
Лишь небо черно в отраженьи, как уголь,
до первой морской пятипалой звезды.

Как славно, что город на якоре встал,
да здравствует скачущий в виттовой пляске,
хлебнувший соленой воды карнавал,
когда к многоцветной дорожной развязке
машины летят по кольцу без острастки
друг другу навстречу из черных зеркал!

Светящийся призрак неоновых колб
и ламп золотых он такие узоры
нам под ноги мечет, что мал небоскреб
и небо седьмое лишь кажется впору!
Но страшен он будет наутро для взора,
как будто разобранный калейдоскоп.

Цветные осколки, хлопушки, стекло,
искусственный лед с кожурою каштанной,
куда нас, приятель, с тобой занесло,
свернувших с пути за неясной поляной,
где рвется искрящийся след этот санный,
и дальше все в горку тепло ли? Тепло.

НАПУТСТВИЕ

Артуру Аристакисяну

"Three thinges there bee that prosper up apace
And flourish, whilest they growe a sunder farr,
But on a day, they meet all in one place,
And when they meet, they one an other marr"

(from Walter Ralegh)

На первой неделе каникул
подтаявший хлюпает снег.
Для тех, кто из времени выпал,
оно начинает разбег.
Ведут к долгожданной свободе
ручьи, повернувшие вспять;
одетые не по погоде
вороны охрипли кричать.

Где в пояс друг другу от ветра
поклоны кладут тополя,
прогуливай жизнь, малолетка,
лови ее на мотыля!
Сейчас она рыбой о берег
колотится луж чешуей,
а после, в каком Англетере
глядишь затянулась петлей.

Пока мы все вместе, пока не
согнулся вверху лунный крюк,
спешу загадать три желанья.
И первое, это, мой друг,
чтоб смолоду в князи из грязи
вели нас с тобой пустыри;
второе простое чтоб наземь,

как сонные нетопыри,
не падали сестры и братья,
когда осовев от вина,
отчизна глухие проклятья
выкрикивает из окна.

К концу продвигается сказка,
бей, рыбка, на жалость хвостом.
О третьем же вспомни в тот час, как
расколется сердце тайком.
И в нем я прошу, мой хороший,
чтоб жаром любви опаля
ресницы и кудри, ты все же
в час горький сгорал не до тла.

ПОПЫТКА РЕСТАВРАЦИИ

Предновогодние дни напрлет
не оберется декабрь хлопот:
гонит пургу, реставрирует свод,
ляпает в окна малярною краской.
Снова лопатой слоящийся лед
скалываю от утра до ворот;
шарф развязался, и в горле дерет,
если бы только от пыли алмазной.

Если б не солнце, что вдруг растеклось
бледным желтком по дырявой насквозь
изгороди, там, где голуби врозь

ежились и вдруг загукали нежно!
Если б не солнце, не полная горсть
снега, то чем утолила бы грусть
в мире, который так празднично пуст
под этой новой побелкою снежной.

ТРИ МЕСЯЦА СПУСТЯ

Памяти М.К.

К месту ушиба прикладывать лед
и под эфирною маской мороза
чувствовать, как носоглотку и нос
щиплют бессольные поздние слезы.

И никакой тут вселенской тоски,
только в снегу розоватая юшка,
только дрожащие веток верхи
и облаков ледянистая стружка.

В серую рябь устремляю я взгляд,
как и оттуда из мутной и лживой
проруби смерти. И пусть говорят,
будто ты умер. И будто мы живы.

*   *   *

К любви безответное сердце в халате
изношенном скучным живет ворчуном:
то мысли о смерти приходят некстати,
то поздние гости являются в дом.
Уж кажется: вот оно все, что желаю,
как вдруг позабытый какой-то предмет,
назло, чтоб тебя разлюбить не могла я,
себя выволакивает в тусклый свет.
Когда марширують дубы вдоль обочин,
и снег к отступленью трубит в водосток
о не расплескать бы под дулом у ночи
того просветленья последний глоток.
Взрезает река черный лед под ногами,
срывает в излучине бинт за бинтом.
Любить это, в сущности, мерить шагами
другие миры, если этот на слом.
Как пульс не сжимай тогда руку в запястье,
но пальцы подпишут холодный указ:
пытать на заре страшной пыткою счастья
того, кто оставил мне жизнь в этот час.
Душой не кривлю. Он в печенках, в предсердьи.
Будь весел же, как на помине, будь пьян,
но кто в этом дымном предбаннике смерти
сухой простыней обмотает твой стан.
Кто скажет в глаза тебе правду, какая
ни есть как холодной водою в лицо
плеснет в этом душном предбаннике рая,
в тот час, когда небо налилось свинцом.
Но все-таки как неразлучно все это:
река, дымный луч, что отпущен сквозь весь
утиный простор тетивою рассвета,
рази меня насквозь. Сквитаемся днесь.
Казнить невозможно помиловать, то есть
в бессмысленном жесте у кромки реки
застыть, чтобы жизни настольную повесть
мятежные утром читали полки.

Сквитаемся молча. Не время для боя.
Уж рифмы живой не найти к слову "кровь".
Но чтобы заполнить пространство пустое,
возьми меня в руки. Ведь это любовь.
Ведь это она на бесснежье весеннем
колотится рыбой о лед немоты
в тот час, когда все, что сносимо теченьем
уносится мимо. Останься лишь ты.
Есть время бросать тихо камни на дно и
смотреть, как круги разбегаются прочь.
В предбаннике жизни я встану босою
отсюда недолго до стынущих рощ.
Как в детстве тропинка от дома до школы,
знаком наизусть мне любой млечный путь.
Ну вот и пошла, и прозрачный, веселый
качается тополь в тумане по грудь.
Но пьяным любовью тропа безопасна,
начни лишь нащупывать кочки холмов,
и время приемлет, как форму пространства,
забытую форму песочных часов.
Вот здесь золотая его середина,
давай же на волю отпустим его!
Тебе половина и мне половина.
Друг друга при встрече узнаем легко.

НЕПЕРЕВОДИМОЕ

1.

Как полицейский в военный свисток,
ветер с рассвета начнет в водосток
дуть. И окно мне открыть все равно, что
книгу о том, как невскрытая почта
листьев вдогонку летит вдоль дорог,
чтобы прочесть ты когда-нибудь смог,
как от любви разверзается почва,

небо уходит как из-под ног.

Голову на отсеченье даю,
что в перевернутом этом краю
чем бесприютней, тем безмятежней,
так вот непойманному воробью
в чьей-то пустой, необжитой скворешне
в жизни, ничем не граничащей с внешней,
слушать за стенкой ее болтовню.

Переводи ж на гортанный язык
мысль, освежающую, как родник,
о стихомании как полновластье
над ослепительным мигом тоски,
и с придыханием с новой строки
об отрезвляющем холоде счастья.

О, отраженья двуликий валет,
перевожу свою тень на паркет,
голая рама крапленая карта.
Господи, сколько же света внутри,
сколько при этом за окнами тьмы
хочет залить разноцветный пожар твой.

Нет, не зальет, из брандспойтов хлеща,
только сильней разгорюсь на проща-
ни ядовитой гари, ни дыма
чистое пламя материя тех,
кто расколол этот мир, как орех,
ради его золотой середины.

2.

На прощание мы отразимся во всем:
в пересыпанной солнцем листве под дождем,
в черных лужах, глядящих с тоскою зеленой;
неужели же выроним счастье из рук,
и со скоростью света расколется звук
не трудись собирать тогда имя из букв
только в кровь оцарапаешь горло озоном.

Геометрия веток в чужих небесах
и пунктирная линия солнца в глазах
хороши, когда взгляд оторву от асфальта,
когда вспомню лицо твое перед собой,
прежде чем различить все черты до одной
в час, когда на астральных часах вразнобой
стрелки крутят свое бесконечное сальто.

Замыкается круг циферблата внутри,
он давно не в себе, и уже не смотри,
что у девочки в баре, как девять и три,
на китайском лице удивленные брови.
Оттого ли, что мысли текучи в уме,
оттого ли, что вещи и вправду в себе,
одного не могу лишь понять я вполне
это то, почему повторенье так внове.

Знать, любовь возвращает сторицей в ответ
свой зеркальный, в осколки разбившийся свет,
ослепленный им, падает в грязь сердцеед,
меж стрелком и добычей растет натяженье.
Не отравной стрелою, а стрелкой часов
она целится в сердце всего с трех шагов,
она метко стреляет так будь же готов
уклониться нельзя уже ни на деленье.

3.

Цветущей яблоней узор весенний задан,
летящею звездой в разломе низких туч,
на известь голых стен легла сирень накатом,
как желтый терпентин в жестянку льется луч.

Я красок не сгущу, я буду объективна,
и я не попаду в обыденный эрзац,
на задник в попыхах наляпанной картины
о, чур меня не звать, не трогать в этот раз.

Художник и модель мы в лучшем мире квиты.
Зачем же отдирать ороговевший фон
от формы бытия, что здесь дырявей сита?
Как мусор из избы любовь выносим вон.

О тайной красоты немыслимое бремя!
Под тяжестью такой с Антея сдуло б спесь.
Напрасно воду льют печали нам на темя
есть вытрезвитель душ и посильнее здесь.

И как ни точит капля воздух ноздреватый,
пока асфальта круг чернеет под ногой,
не говорю тебе, что уходить не надо.
Я, как дорожный знак, приказываю: стой!

* * *

Сыграй мне в сто десятый раз Элизу
и занавеску в солнечном луче,
и нитку розоватого ириса -
все в том же незапамятном ключе.
Переложи на музыку и это
высокое немецкое окно,
оправленное в бронзовое лето -
я выпала из времени давно.
А ты елозь, крути рояльный стульчик,
в истерике швыряй комплектом нот.
Сыграй мне фугу детских нахлобучек
и я у слов возьму самоотвод.
Пусть токается в дверь сквозняк, опухший
от аллергии на собачий мех,
на все вопросы затыкаю уши -
необъяснимо это как на грех.

На все вопросы есть ответ короткий,
где воздух разлинован, как тетрадь,
и где играют за перегородкой,
чтобы с утра всю жизнь переиграть.
Хочу войти в ту комнату неслышно,
присесть в углу и превратиться в слух.
Есть тишина, когда захлопнут крышку -
она страшнее прочих двух.

*   *   *

Я видеться с людьми не вправе,
я все забыла, чем живут,
но сны мои реальней яви,
которая вам снится тут.

Хочу отдернуть занавеску,
поднять тяжелый взгляд совы
и снова навести на резкость
цветной калейдоскоп листвы.

И если тротуар кирпичный
как-то особенно певуч,
то значит я нашла отмычку
от всех дверей - скрипичный ключ.

И стало быть, я снова вхожа
через калитку в белый день,
и стало быть, я тоже, тоже
еще отбрасываю тень.

ГЕНЕРАЛЫ ПЕСЧАНЫХ КАРЬЕРОВ

В тот день с развалин Херсонеса
все тропы к пристани вели,
и, малолетка, поэтесса,
я тоже в море корабли
считала на краю земли,
и волны, салютуя, шли
из Севастополя в Одессу,
как гладиаторы в пыли.

Географической кружок
отпраздновал конец сезона.
Тебя я вижу, мой дружок,
в трусах входящим в море оно;
ты удочку отводишь вбок,
и словно ветрянной пропеллер,
на леске крутится бычок.
Ах, солнца красный поплавок!
Ах, счастья сирого глоток
ведь было ж все на самом деле.

В начальных числах сентября
чернильной радугой заря
предутреннюю скрасит воду
в час, как поднимут якоря,
и кто-то крикнет: "от винта!",
и тронемся, не зная броду.
И за кормою корабля
три чайки, хриплые от лая,
вдогонку бросятся из стаи,
на берегу следы теряя
и на воде следы беря.

О твердь ее была кругла,
и ржавый якорь в ржавой дверце
густая тина облекла,

как будто капилляры сердце.
Вокруг щемящесть бытия
росла, как первый крик младенца.
Сейчас он скинет полотенце
с глаз. И его увижу я.

Мы с ним дружили тыщу лет.
Сухие желваки под кожей,
плюс глаз томящий полусвет,
скорей на полутьму похожий
вот перечень его примет.
Он вам знаком? Ни да, ни нет.
Мне тоже. Но любим до дрожи.

Как описать любви лицо?
На свете много есть полезной
и важной дребедени, но
я помню ночь в каюте тесной,
как мы целуемся тайком
под простынею, там, меж бездной
морской и бездною небесной
под храп товарищей кругом.

Пятнадцать стукнуло нам. Страх
и страсть играли с нами в жмурки,
в запекшихся сухих углах
губ зажимали мы окурки.
И чтоб никто, никто, никто
не заподозрил, мы в ведро
макали что-то вроде губки,
налив туда вина на дно.
Поныне с ясностью тлетворной
я помню, как меня рвало
потом во тьме ночной уборной.

Тревожен след от пятерни
на заспанной щеке. Вот здесь-то,
на льду казенной простыни,
песочного касаясь теста
его спины в разгаре детства,
я жизнь прошу: "Повремени!"
Стираются слова и жесты,

как мел с доски. Она черна.
В единстве времени и места
шумит лиманская волна
и на песке открытым текстом
вновь пишет наши имена.

Конец каникул. Глупый рок,
напрасно руки потирая,
уж думает, что эпилог,
а будет так: косые сваи
моста, вода бубнит урок,
иду домой пешком с трамвая
и в ясной мгле наискосок,
в движеньях, в лицах, между строк
везде наощупь жизнь читаю.

На корточки присяду я
пред миром зыбких отражений,
но как не манит пальцем тьма
вниз с тридцати пяти ступеней
туда, где белкою дитя
вращает колесо рождений,
но знаю, мне туда нельзя,
ты первой обвинишь в измене
Не стой на скользкой от дождя.
бетонной лестнице. Огня!
Ночные расступитесь тени!

Я знаю, ты из рода птах,
которым неизвестен страх,
Как грустно жить на белом свете!
Как сладко мы живем на взмах
ресницы, ты ли впопыхах,
любовь, сквозишь в сухих углах
губ, в этих жестах, всхлипах этих.
Так улыбнись над синим льдом
измазанным помадой ртом
о, нежный, гадкий мой утенок,
Смотри же в оба: где-то там,
вот-вот ночь выбросит к стопам
луны бутылочный осколок.

DEJA VU, DEJA ENTENDU...

Сильве Аппель

За ночь курс листвы упал,
кроны брошены на ветер.
Люди гибнут за металл,
что ржавеет на рассвете.

Словно ножницы стрижи
дождевые режут нити.
Ты ж на память завяжи
узелок в обгон событий.

Скоро, скоро ничего
не останется меж нами,
лишь цветастое шитье,
сброшенное тополями.

Впору в пальцы брать иглу,
и лишь только иней треснет,
приторачивать к стеклу
распустившуюся пестрядь.

Осеняй, окно на юг,
блеском осени, которой,
спохватившись завтра вдруг,
не найдем за пыльной шторой.

Пролететь должны века
по параболам парабол,
когда чья-нибудь рука
выронит иголку на пол.

В мешковине туч блеснет
бледный луч, острее шила.

Сквозь дырявый небосвод
ты увидишь все, что было.

*   *   *

Надежна кольчуга стеклянного сквера,
где солнце ломает лучи,
но "тьфу, чтоб не сглазить," - плакучая верба
костяшкой по тумбе стучит.
И вправду, колдобины снега чреваты,
как тот, из витрин, старый сыр,
как будто от слишком упорного взгляда
здесь что-то протерлось до дыр.

О как тогда ищет рельефа неровность
загладить тех складок вину
проекцией птичьего тела на плоскость,
безумцем, чертящим лыжню,
по верхнему краю наклонного поля,
когда, отвернув окоем,
воочию видится вольному воля
в другом уже свете, в другом.

*   *   *

Дома скалят зубы заборов,

и улицы ищут улик,
мигающий взгляд светофоров
грозит перейти в нервный тик.
Тем паче, что ищешь причину
вовне, что в посылки берешь
отточенный, как гильотина,
двуострый оккамовый нож.

На взятый у жизни задаток
процент нагорает в обгон,
но разум на острое падок,
как пьяница на самогон.
Все сводится к поискам счастья,
но свойства его таковы,
что мы видим дробные части
и тычемся в рваные швы.

Уж лучше воспой напоследок,
как в заводи мертвой реки
блуждает безумный твой предок,
не взяв тебя в проводники.
Искателем мыльных жемчужин
плывет он в чугунной ладье
под парусом снега, по лужам,
в сенильном своем забытье.

Картонные рушатся стены,
границы стираются прочь,
когда он из лунной системы
уходит в безлунную ночь.

*   *   *

Декабрь сугробами сутулится,
вода дымится, как в аду.
Здесь, на смеживших ставни улицах,
дыханья не переведу.
Я буду клясться белой пряжею
из ариадного клубка:
пой онемевший рот и заживо
кусай хомут воротника.
Я буду щедрою до одури
и въедливой по мелочам.
Пойми, мы слишком много отдали
на откуп скушным болтунам.
И столько ими понаверчено
безрадостной, как лыко, лжи,
что вещи смотрят недоверчиво,
скосив глаза на падежи.
А ты терпи, наймись в отшельники,
пусть снежной порослью цветет
перед Латинской школой в ельнике
белейшая из русских од.
О том, как где-то под рубашкою,
накрывшей город в аккурат,
как тягловое сердце тяжкое,
ночные поезда стучат.

*   *   *

Если сядем за столик вдвоем
в марокканском кафе под брезентом,
будем пить только пиво со льдом,
как положено вечным студентам.

Как заведено в этом краю,
снова пеплом посыпем пластмассу.
Я по мрачным глазам узнаю
пассажиров четвертого класса.

Желтый лист, как горчичник к спине
прилепился. Откуда, откуда
эта странная горечь на дне,
будто вымыли хлоркой посуду.

Мелкой медью звенящий карман
тоже память запишет на пленку.
Выпадает в осадок туман,
и бросаются тени вдогонку

за тобой и за мною. Пора.
Вечереет, уже свечерело.
Так вот, не отрывая пера,
жизнь споткнулась, но я уцелела.

* * *

Оле Юрченко

Полюби эту долгую зиму
за крутой несговорчивый нрав,
за надменную белую схиму
и колючий от вьюги рукав.
За ямщицкое пенье бурана,
за чечетку дубовых сапог,
за сугроба суфлерскую яму

в бессюжетной развязке дорог.

Руку на сердце. Слышишь, как часто
повторяет оно свой приказ:
на развалинах мертвого наста
не смыкать тяжелеющих глаз.
Видишь, поезд ползет из пенала,
видишь сдачу дает автомат,
будем быть, что бы там не бывало,
сообщает рекламный плакат.
Будем синим гореть аметистом,
будем зубы на полку не класть,
будем мчаться в вагоне искристом
в залитую неонами пасть.

Сладок запах прогорклого масла,
кукурузы воздушной салют.
Постепенно становится ясно,
что движенью не нужен маршрут.
Постепенно сквозь сумрак слоистый
проступают тайком на пару
человекоподобные числа -
мы экзамен сдаем "на иглу".

* * *

Смотри, смотри, смотри по сторонам:
жизнь разлетается по временам,
по лицам и по числам января,
о стекла чиркнув спичкой фонаря.

Снижаются, кружат опилки снега,

мерцают иероглифы побега,
и наподобе тонкого мостка
вглядись над бездорожьем переброшен
пунктир речного ржавого песка,
но сам канатоходец в бездну сброшен.

Обогреваться газовой плитой,
на корточках сидеть пред собственною тенью.
Сознанье обживает мир чужой,
как комнату ползучее растенье.

Все выступы стены зеленый плющ
пересчитал сквозь струпья штукатурки,
осталось подмести истертый плюш
ковра и в мусор вытряхнуть окурки.

И слушать черной оттепели гул,
когда свернувши в переулок с трассы,
вчерашний снег прогноз не обманул
становится дождем почти что сразу.

*   *   *

Исполняется все, что себе пожелала
и чего пожелать не могла.
Зимний свет небывалого прежде накала
через площадь несут зеркала.

Ты снаружи вовнутрь вносишь облако пара,
вносишь кольца дыханья и снег.
Исполняется явь вытесненьем кошмара
из прошедшего в будущий век.

Исполняются тайно любые желанья,
исполняется все, как на грех.
Исполняется даже помимо старанья
всех забывших и помнящих всех.

И когда исполняются мысли о смерти,
то не ты умираешь во сне.
Просто что-то уходит из сердца в предсердье
и скользит по шершавой стене.

From gorokho1@husc.HARVARD.EDUFri Mar 22 22:05:00 1996
Date: Thu, 21 Mar 1996 02:57:21 -0500 (EST)
From: Eugene Gorokhovsky <gorokho1@husc.HARVARD.EDU>
To: verbit@abel.math.HARVARD.EDU
Subject: Kibirov:ECMA

Филипп Николаев: Тимур, в критических и литературоведческих статьях и высказываниях тебя часто называют поэтом эпическим - в отличие, по всей видимости, от поэтов, работающих в малых формах, содержание чьих стихов составляет *лирика*: символика высокого, любовь, природа, погода и прочие аполитичные и как бы внеисторические материи. Как ты сам относишся к такой характеристике твоего творчества?

Тимур Кибиров: Честно говоря, я привык воспринимать лирику и эпос традиционно, то есть, не по объему, а по содержательным признакам. Например, мои огромные поэмы-послания поэту Леве Рубинштейну или художнику Семе Файбисовичу - чисто лирические, какими бы они ни были огромными, а некотрые маленькие стихотворения, имеющие, однако, сюжет или описывающие конкретный случай (например, *Баллада о солнечном ливне*), стоят гораздо ближе к эпосу. Ровно в этой связи меня несколько удручает известное понижение филологической подготовленности, если не вообще образовательного уровня нашей критики.

Ф. Н.: Справедливо. И все же мне кажется, что за этим расхожим клише в адрес твоих стихов кроется ряд здравых, даже, может быть, очевидных наблюдений. Не говоря даже о том, что вряд ли кто-нибудь еще в наши дни сочиняет протяжные, повествовательные русские поэмы с такой самозабвенностью, как ты, по-моему, одной из самых оригинальных черт твоей поэзии является ощущение сгущенного исторического времени, которое не свойственно поэзии вообще. Поэзия зачастую пользуется вневременным символическим языком, который не настолько насыщен деталями, не настолько созерцателен по отношению к общему фону жизни, к общему полотну, на поверхности которого как раз и разворачиваются твои личные и интимные сюжеты. Какова же, на твой взгляд, эстетическая функция деталей, привязанных к историческому времени, к определнному быту, внедренных в небезызбестную политическую формацию - всех этих зачастую не шибко благозвучных имн собственных, невзрачных деталей отечественного туалета и других опознавательных признаков эпохи?

Т.К.: В свое время - годам, примерно, к тридцати - у меня произошл резкий слом вкуса. В пору отрочества и юности меня в стихах ужасно раздражали какие-либо конкретные указания на место и время деиствия. Даже у своего любимого Блока упоменание в стихах трамваев разочаровывало меня и казалось непоэтичным. *Ты в поля отошла без возврата* Да светится имя тво** - вот что казалось настоящей поэзией, а при чем там были трамваи, вокзалы я понять не мог. А потом, как я сказал уже, произошл резкий слом, и уже у того же Блока, драгоценным мне кажется то, что через быт его эпохи проростают,говоря высоким штилем, некие вечные истины. Мои нынешний взглад, возможно, так же ограничен, как и мои отроческие воззрения, и не исключено, что через десяток лет я буду говорить что-то совершенно противоположное, но сейчас самым драгоценным мне кажется в поэзии как раз вот этот пресловутыи *сор*, из которого растут стихи. Я, кстати, всегда очень любил и до сих пор люблю это ахматовское стихотворение: *Когда б вы знали, из какого сора // Растут стихи, не ведая стыда...* Но в свое время мне это казалось абсолютной истиной о поэзии, а сейчас мне кажется, что сора то как раз и нет. Наоборот, как бы так этот самый *сор* в стихах запечатлеть. Сейчас я свою задачу мыслю как попытку спасения, чуть ли не консервации всего и вся. Это гораздо лучше меня формулировал, не говоря уже о том, что и делал, Владимир Набоков, и поэтому обилие в моих стихах реалий советской жизни, советской политики, советской зоологии - это , на самом деле, это не столько по ведомству гражданской скорби или негодования, сколько попытка уберечь от забвения вот этот уже действительно мусор. Какая бы она ни была, это ведь все-таки была жизнь, и она должна запечатлеться эстетически оформленной и осмысленной. Я хочу, например, чтобы моя дочка, когда она вырастет, могла меня понять. А для этого она должна понять эту жизнь, потому что я вс-таки советскй человек, со всеми плюсами и минусами, и никаким иным я быть не могу. Очевидно, и советский поэт* У многих советских поэтов было такое неистребимое желание, которое я бы назвал желанием *быть испанцем* - вполне объяснимое с какой-то точки зрения, потому что обидно было осознавать себя советским человеком, хотелось себя как-то возвысить и отгородиться от этого постыдного быта. Мне кажется, что это не совсем честная тактика для художника, вернее не тактика, а поведение. Я сознательно выбрал противоположную позицию, понимая при этом, насколько она уязвима и насколько не соответствует типическим представлениям об исскустве.

Ф.Н.: Любопытно, что ты упомянул Набокова, потому что я по ассоциации с твоей поэтикой думал о совпадении, которое мне видится между заключительной фразой набоковских *Другух берегов* о том, что *однажды увиденное не может быть возвращено в хаос никогда*, с тем что ты говоришь об эстетике деталей. Но я хотел бы тебя спросить вот о чм. История исскуств показывает, что очень часто материал художника, в силу того, что он является материалом той или иной эстетики, каким-то образом вбирает в себя условную ценность, привносимую эстетическим виденьем, которая, оданоко, самому материалу не присуща в той степени, в какой это видится потом в произведении исскуства. Возьмем для сравнения жанр сельского пейзажа в европейском романтизме. Крестьяне, коими зачастую пестрят такие пейзажи (как живописные, так и литературные) - люд очевидно бедный и, с извесной точки зрения, даже убогий в своей безропотной, традиционной, трудолюбивой согбенности на аляповатых нивах; однако они же - предполагаемые носители духовных ценностей, фольклора, народной мудрости и проч. Атмосфера умиления и идеализации, связанная с этим мотивом в романтическоим искусстве, призвана вызвать удовлетворительное впечатление о народной жизни как о целостном мире, который самодостаточен, глубок, органичен и представляет собой чуть ли не тело собора духа почвы бытия человечества - или уж что-нибудь на этакий манер. И как только начинаешь верить в это и любоваться этим, то пропадает желание что-либо менять. Не видишь ли ты подобной опасности консерватизма в своих сочинениях? А может быть это и не опасность, а норма с твоей точки зрения?

Т.К.: На самом деле вопрос неожиданный и точный. Наверное, такая опасность существует. Но, честно говоря, когда я писал эти вещи, я боролся с другой опасностью, а именно, чтобы повальная интеллигентская ненависть к этому быту, к этой стране, не захлестнула. Я надеюсь, что в этих сочинениях все достаточно взвешенно и что мне удается передать весь ужас этого существования; по крайней мере, я пытаюсь. Но не исключено, что у какого нибудь молодого человека, читающего стихи, и возникнет ощущение, что вот-де какое это было время интересное, опасное, такое-сякое... Впрочем и у меня, когда я отроком читал лагерную прозу, возникало чувство едва ли не зависти, тоски о настоящей жизни, по сравнению с которой собственная жизнь казалась мне болотом. Может быть, такие эмоции следует учитывать, но я об этом, честно говоря, прежде не задумывался.

Ф.Н.: Уточню, я спрашиваю вовсе не о том, что может прийти на ум, а о твоей собственной позиции. Я, собственно, в связи с этой набоковской фразой об опыте как преодолении хаоса и подумал о твоих словах в посвящении Файбисовичу:

Щелкни ж на память мне Родину эту,
всю безответную эту любовь,
музыку, музыку, музыку эту,
Зыкину эту в окошке любом*

Мне кажется, что эти строчки ироничны лишь отчасти; что под троекратной *музыкой* здесь разумеется не только то немудрящее, что раздается из окон, но и субъективная гармония всей этой жизни - как бы противопоставленная хаосу, связующая полифония, усиленная в тексте исторически-экзотической стилистикой трепетных подробностей и нюансов. И что в контексте данной поэтики это и есть - прекрасное, пусть и сдобренное ироническими обертонами. Справедливо это?

Т.К.: Если отбросить ту надменность, которая не позволяет писателям самим трактовать свои произведения и заставляет отвечать на все вопросы типа *Что это значит?* заявлениями на тот счет, что это де *значит то, что написано* - если всю эту манерность отбросить, то я смогу сказать, чего мне хотелось, а хотелось мне написать отнюдь не апологию этой жизни и не карикатуру ее, не какие-то гневные обличения тоталитаризма или россиской действительности, а показать, как это всегда и делали художники, что и это тоже *божий мир*, пусть даже это звучит несколько высокопарно. И что таким он был всегда, со всеми его ужасами, со всей перехватывающей дыхание красотой. Доказать, в первую очередь самому себе, что это нормальная жизнь, равноценная жизни итальянцев эпохи Возрождения, иудеев эпохи Пророков, греков классической Греции. Мне хотелось показать, опять же, что эта жизнь серьзна, потому что у большенства советских интеллигентов была страшная тенденция воспринимать е как нечто ненастоящее. Отношение было такое же, как у меня к службе в армии: надо это просто перетерпеть, все это меня не касается. Но в какой-то момент мне захотелось описать эту жизнь серьзно, потому что она не менее, чем всякая другая жизнь, заслуживает не только иронического, не только любующегося или негодующего, но серьзного и сложного отношения. Поскольку это - наша жизнь, которая вряд ли кому-то другому доступна.

Ф.Н.: *И по отношению к который ты употребил слово *равноценна*, сравнивая е с другими, канонически высокими. Следует ли это понимать в том смысле, что все формы жизни равноценны?

Т.К.: Нет, безусловно не следует. Существует иерархия, как и везде. Иерархия - это жизнь, и если иерархия разрушается, то, извини за банальность, наступает смерть и разложение. Конечно же, существует иерархия культур, не смотря на модные поверия об их равноценности. И понятно, что советская культура не равна культуре викторианской Англии, но я говорил не о культуре, в данном случае, а о жизни.

Ф.Н.: А жизнь свободная и несвободная контексте - это потусторонние категории? Разве они не подсудны, не подлежат моральной оценке? Ведь когда ты говоришь, что вс есть *божья* жизнь, то сам собой напрашивается вопрос об ценностной уравниловке с одной стороны, и моральной *неподсудности* - с другой. Тебе может показаться неуместным мое неумеренное тяготение к довольно абстрактным материям в этом разговоре, но они-то меня больше всего и интересуют и совсем не кажутся мне отвлеченными. Было бы станным, например, заводить речь о такой традиционно-теологической проблеме, как свобода воли если бы советская (да и всякая другая) поэзия не имела систематической привычки отрицать эту самую свободу: герой предстает зачастую в качестве пассивной, в обоих смыслах *страдательной* субстанции, на которую *история*, *общество*, *политика*, *жизнь* или собственная страсть (например, любовь или вдохновение) действуют тем или иным роковым образом. Многие, вполне достойные в других отношениях стихи отражают презумцию, согласно которой человек является продуктом обстоятельств - внешних (исторических или житейских) или внутренних, психофизических. Не видишь ли ты этической и эстетической угрозы для поэзии в такой позиции?

Т.К.: Конечно. На мой взгляд, именно в этом заключается главный соблазн российской жизни - в списывании личной ответственности на внешние обстоятельства. И, кстати, тот вкусовой и мировоззренческий перелом в моей жизни, о котором я уже говорил, коснулся и этой области - осознания личной ответственности. Я, в частности, перестал воспринимать советский универсум в категориях *они, которые вс это устроили* и *я, который все это претерпеваю*.

Ф.Н.: Меня интересует, оставляет ли, твоя поэтика место - пусть теоретическое, пусть абстрактное - для того, что бы взять и начать что-то радикально менять, опровергать и ниспровергать? Я боюсь, что идея хрупкости, сентиментальной переплетнности всей жизни, идея бытия как организма не терпит хирургических вмешательств. Не нахожусь ли я в заблуждении на этот счет?

Т.К.: Если я тебя правильно понял, то не терпит, ну что ж, и слава богу. Я большой ненавистник *резких телодвижений*. Гораздо больше я люблю эволюцию.

К.К.: Тимур, а в чм по-твоему состоит цель поэзии? Поэзия есть средство для достижения некой цели - или сама цель?

Т.К.: Я выскажу довольно еретическую мысль, еретическую особенно для интеллигентского эстетизированного сознания в двадцатом веке: поэзия является средством. Целью является что-то другое, что, не формулируя точно, можно обозначить через следующий ряд: совершенствование человека, истина, добро, красота. К сожалению, слова этого ряда принимают такие стилистические обертоны, что выглядят ложью, поэтому не буду перечислять далее. Но то, что поэзия, как и все другие виды человеческой деятельности - только средство, в этом я глубоко убежден. Если бы она была целью, то ей должно было бы быть подчинено все остальное. Я же, к примеру, не готов жертвовать во имя поэзии такими вещами, как счастье моего ребенка, не говоря уже о*

К.К.: *Счастье сотен тысяч*?

Т.К.: Вот именно. Я не готов жертвовать ни чьим-то счастьем, ни даже просто хорошими манерами. Нет, поэзия - это один из видов деятельности человека, очень важный; для меня, например, самый важный, поскольку я им занимаюсь. Но все равно это - средство для достижения некоторого идеального состояния, некой ослепительной точки, к которой обращены мечты и чаяния всего человечества. Тем не менее, я нарочно сбиваюсь на пародийный тон, потому что любые слова, когда говоришь об этом, становятся пародией.

К.К.: Раз поэзия это - только одно из средств для постижения некой конечной истины, то стало быть есть и другие средства, так ведь? Какие из наук и искусств вызывают у тебя зависть? Существует ли альтернативная, не осуществленная жизнь?

Т.К.: Я завидую людям, искренне верующим в бога, потому что на каком-то уровне, как все вменяемые люди, я в него верю. Это вера в нечто абсолютное за пределами нашего мира, но она, к сожалению, не требует перемен в посюсторонней жизни. Поэтому я и завидую по-настоящему верующим. Помимо них, я восхищаюсь людьми, активно делающими добро. Я бы употребил слово *праведники*, если бы оно не имело дурного стилистического привкуса.

К.К.: Уж и не знаю, уместно ли с прашивать в этой связи, что есть добро? Ведь не исключено, что занятие поэзией имеет к нему не меньшее отношение, чем другие, более очевидные поприща?

Т.К.: Нет, я убежден, что хороший врач или воспитатель детсада делают большее добро. И это не поза, я действительно так думаю. Хотя это нисколько не принижает того, что делает поэзия и что мне кажется чрезвычайно важным. И не дай бог ей прекратить существование!

К.К.: Тимур, раз уж разговор сам по себе сложился у нас о серьезном и высоком, спрошу тебя и о твоем отношении к литературной серьезности. В поэме *Размышления о русской словесности* у тебя есть следующие строки: * Но мысль печальная тут душу посещает, мой друг, меня все больше огорчает инфляция** В оригинальном же стихотворении *Деревня*, к которому относится твоя реминисценция, в этом месте тематически проходит золотое сечение, и идилия переходит в обличающую отповедь крепостному праву. Пушкин тогда легко отделался, все могла было кончится иначе (имеется в виду отданный Александром 1 приказ подать ему тудыть-растудыть список *Деревни* и находчивость Чаадаева, привезшего имератору тоолько первую половину стихотворения, что и уберегло Пушкина от высочайшей немилости). Чем же продиктован твой пародийный тон? Сдедует ли воспринимать его как знак твоей аполитичности, поскольку ты приземляешь *идею* оригинала? Несет ли цитата в твоих стихах мысль о своего рода реформации, опрощении, или у нее чисто игровая функция?

Т.К.: Катя, мне странно, что ты говоришь о цитатности как о какой-то мне одному присущей особенности. Цитатность присуща всей современной культуре. В твоих стихах, которые я прочел с удовольствием, точно так же присутствует цитатность. От этого современный художник никуда не денется. Что же касается приземления идей и прозаизации, то критика не раз отмечала у меня это *опускание* высоких идей до уровня советского быта. А может стоит взглянуть на это под другим - серьезным углом, с точки зрения *поднятия* быта до уровня идей?

К.К.: Я на это так и смоторю, никакого нигилизма в твоем творчестве не вижу, а вижу наоборот - борьбу с нигилизмом.

Т.К.: За это спасибо.

К.К.: Но данный уго зрения не снимает вопроса об уместности вынесения реалий быта на вершину пирамиды. Чем ты обязан этому описательному ряду, что производишь такую ценностную ракировку? То есть, вопрос в данном случае не *что ты делаешь*, а *почему ты делаешь то, что делаешь?* Неужели только потому, что полагаешь, будто сознание сфоитровано окружающим бытом?

Т.К.: Ни в коем случае. На то моя воля, это мой выбор, мне так хочется, я так считаю. Если, к примеру, будущим летом в Шильково я вспомню сегодняшний вечер, то его и буду описывать, а не окружающее меня Шильково. К сожалению подражатели, оторые уже появились и у меня, несколько компроментируют оригинальность выбора*. , хотя их наличие и льстит самолюбию.

Ф.Н.: Тимур, к вопросу об обусловленности сознания я хочу вернуться еще раз и вспомнить следующие твои строчки из посвящения Файбисовичу: *Критика чистого разума Канта*// в тумбочке бедного Маращука*. Эти строки не нейтральны, так ведь? Они оксюмороничны, потому что в ужасном советско-армейском контексте Кант как бы не имеет места? Но *отменяет* ли его в действительности эта реальность? И если я правильно понял предыдущий вопрос, то он тоже был о релятивизме. Существует расхожая идея о том, что мы не можем вырваться за пределы окружающего нас быта, *бытия*, всех этих привокзальных сортиров* И существует противоположная рационалистическая идея о том, что мы живем во вселенной, которая доступна пониманию. Этический рационализм утверждает, что наравне с физической, химической, математической организацией вселенной, нами может быть понят и ее моральный закон. Моральные категории - столь же реальны в ней, как и физические, а не просто биологически, культурно-бессознательно, идеологически или эмоционально заданы, а задача наша состоит в том, чтобы правильно уразуметь эти категории. В этой связи для меня очевидно, что в твоих стихах присутствует представление об объективности морального закона. Но мне интересно, откуда, с твоей точки зрения, являются моральные представления, какова их природа? Неужели твой мир, твои убеждения - это сугубо индивидуальные мнения, которые никто не обязан разделять, или они мыслятся как истины?

Т.К.: Хорошенький вопрос! Это, может быть, основной вопрос философии - откуда берется мораль. Было бы самонадеянно, с моей точки зрения, отвечать на него - я к этому не готов.

Ф.Н.: А не самонадеянно ли писать, тем самым задавая моральные ценности, если ты не уверен, истинны ли они или ложны?

Т.К.: Я верю в то, что мое понимание морали, красоты, истины верно. Я не знаю, откуда это взялось. Мы, конечно, можем приятно поговорить, примерить ту или иную концепцию, но в сущности все это неизвестно. Однако, у меня имеется уверенность, примерно такая же, как и то, что мы сидим за этим вот столом и что я трогаю вот эту спинку стула - уверенность в том, что ценности, о которых мы говорим - объективны. Я в это верю. Готов ли я эти ценности пропагандировать? Естественно, я пытаюсь навязать их другим. Как ни стыдно делать подобное признание в 20 веке, мои стихи вообще-то вполне пропагандистские. Не этим ли фактом я обязан тому, что мы говорим о них не в узко-проффессиональном или биографическом контексте, а в в гораздо более радующем меня универсальном и философском. Я должен сказать, что мне безумно приятно, что мои скромные сочинения вызвали такого рода вопросы, и что разговор вышел за рамки сугубо литературного перемывания малозначительных деталей.

Тимур Кибиров

ПЕСНЬ О СЕРВЕЛАТЕ

Приедается все. Лишь тебе не дано приедаться!
И чем меньше тебя в бытии, тем в сознаньи все выше,
тем в сознании граждан все выше
ты вознесся главой непокорной - выше
всех столпов, выше флагов на башнях, и выше
коммунизма заоблачных пиков...
Хлеб наше богатство!
Хлеб всему голова!
Но не хлебом единым
живы мы, не единым богатством насущным!
Нет! Нам нужно, товарищ, и нечто иное,
трансцендентное нечто, нечто высшее,
свет путеводный, некий образ, символ-
бесконечно прекрасный и столь же далекий,
и единый для всех - это ты, колбаса, колбаса!

Колбаса, колбаса, о, салями, салями!
О красивое имя, высокая честь!
И разносится весть о тебе депутатами съезда
по просторам Отчизны, и в дальнем урочище, и на Украйне
о тебе узнают и светлеют душою народы.
Стоит жить и работать, конечно же, стоит!
Есть бороться за что!

И от зависти черной жестоко корежит
англосакса, германца и галла.
Нет у них идеалов!
И не будет - пока не придут к нам смиренно
поклониться духовности нашей!
О, этнограф, философ, историк, вглядись же!
Изучи всенародную эту любовь, эту веру, надежду.
Не находишь ли ты, что все это взросло из глубин,
что сказались в явлении этом не только
(и даже не столько)
достиженья 20-го бурного века,
сколько древние силы могучей земли, архитипы
духа нашего стойкого? Может быть, ныне

Возрожденья свидетелем можешь ты стать, Возрожденья
в этих скромных, обыденных формах (о, салями, салями)
культа Фаллоса светлорожденного, культа языческой
радости, праздника жизненных сил, христианством
жидовским сожженного!
И наконец-то окончательно мы
избавляемся от угнетенья, от тиранства несносного...
О, сервелат! Дай нам силы в борьбе, укрепи наши души!
О, распни его к черту, распни его снова!..
Светлее все светлее и все светлее. И вовсе не надо, чтобы
каждому был ты доступен, - профанация это!
Лишь избранники, чистые духом, прошедшие искус,
в тайных капищах в благоговейном молчаньи
причащаются плоти твоей...
Но профанам, но черни наивной позволено тоже
поучаствовать в таинствах - через
подобья, через ангелов светлых твоих, братьев меньших...

Лишь я, только я,
да и то не совсем,
только я не хочу тебя.
Я не хочу тебя!!
Я запрещаю хотеть себе,
Я креплюсь, я клянусь:
ты мне вовсе не нужен!
Я ложусь на матрац. Забываю про ужин.
Свет тушу и в окно устремляю глаза.
Летней ясною синью сквозят небеса.
Крона тополя темная густо лепечет.
Я лежу в темноте, не рыдаю, не плачу.
Я лежу в темноте, защититься мне нечем.
Я мечтаю дать сдачи, но выйдет иначе.
Только тополь лепечет.
Да слышно далече
пенье птицы.
Не может быть речи
ни о чем. Ничего не случится...

И опять:
сервелат, сервелат,
я еще не хочу умирать,
у меня еще есть адреса, голоса,

у меня еще есть полчаса...
Небеса, небеса. Колбаса.